

# Господин Паран -2/ рассказ

Category: Neкаýalar, Kitарсу

написано kitарсу | 23 января, 2025

Господин Паран -2/ рассказ II.

Паран стал жить один, совсем один. Первое время после разрыва новизна одинокого существования отвлекала его от дум. Он снова зажил холостяком, вернулся к прежним привычкам, фланировал по улицам, обедал в ресторане. Желая избежать скандала, он выплачивал жене через нотариуса определенную сумму. Но мало-помалу воспоминание о ребенке стало его преследовать. Часто по вечерам, когда он сидел дома один, ему вдруг чудилось, будто Жорж зовет его: «Папа». Сердце у него сейчас же начинало усиленно биться, и он спешил открыть дверь на лестницу и поглядеть, не вернулся ли домой его мальчик. Ведь мог же он вернуться, как возвращаются собаки или голуби. Почему не быть инстинкту у ребенка, раз он есть у животных?

Убедившись в своей ошибке, он снова усаживался в кресло и думал о сыне. Он думал о нем часами, думал целыми днями. Тоска его была не только душевной, это была, пожалуй, даже больше тоска физическая, чувственная, нервная потребность целовать сына, обнимать, тискать его, сажать к себе на колени, возиться с ним, подбрасывать его к потолку. Он томился жгучими воспоминаниями о былых радостях. Он ощущал детские ручонки вокруг своей шеи, губки, чмокающие его в бороду, волосики, щекающие щеку. Жажда этих исчезнувших сладостных ласк, жажда ощутить своими губами мягкую, теплую и нежную кожу сводила его с ума, как тоска о любимой женщине, ушедшей к другому.

На улице он вдруг вспоминал, что сын, что его бутуз Жорж мог бы сейчас быть с ним, семенить рядом детскими своими ножонками, как прежде, когда они ходили гулять, и он принимался плакать. Тогда он возвращался домой и, закрыв лицо руками, рыдал до вечера.

Двадцать раз, сто раз на дню задавал себе Паран все тот же вопрос: чей сын Жорж, его или не его? Нескончаемые думы об этом обступали его главным образом по ночам. Едва он ложился в

постель, как снова начинал строить ту же цепь безнадежных доводов.

Вначале, после ухода жены, он совсем не сомневался: конечно, ребенок, не его, а Лимузена. Потом им снова овладели колебания. Слова Анриетты, разумеется, не имели никакого значения. Она хотела сделать ему назло, довести его до отчаяния. Здравомысленно обсуждая все доводы «за» и «против», он приходил к выводу, что она могла и солгать. Один только Лимузен, пожалуй, сказал бы правду. Но как узнать, как спросить его, как склонить к признанию?

И вот иногда Паран вскакивал среди ночи, твердо решив сейчас же пойти к Лимузену, умолить его, дать ему все, чего тот ни пожелает, только бы положить конец ужасным мукам. Потом он снова укладывался в постель, в полном/отчаянии, сообразив, что любовник тоже, верно, будет лгать. Даже обязательно будет лгать, чтобы настоящий отец не мог взять к себе сына.

Что же оставалось делать? Ничего!

И он упрекал себя в том, что ускорил события, что не подумал обо всем, не запасся терпением, не сумел выждать, притворяться месяц – другой и во всем удостовериться собственными глазами. Надо было прикинуться, будто ничего не подозреваешь, и предоставить им возможность понемногу выдать себя. Достаточно было бы посмотреть как Лимузен целует мальчика, чтобы догадаться, чтобы понять. Друг не целует так, как отец. Он мог бы подглядеть за ними в щелочку! Как ему это не пришло в голову? Если Лимузен, оставшись с Жоржем, не схватил бы мальчика, не сжал в объятиях, не покрыл бы страстными поцелуями, а равнодушно смотрел бы, как тот играет, – все сомнения исчезли бы: значит, он не отец, он не считает, не чувствует себя отцом.

Тогда он, Паран, выгнал бы мать, но сохранил бы сына и был бы счастлив, вполне счастлив.

Он ворочался в постели, обливаясь потом, мучительно стараясь припомнить, как вел себя Лимузен с мальчиком. Но он ничего не мог восстановить в памяти, абсолютно ничего: ни подозрительного жеста, ни взгляда, ни слова, ни ласки. Да и мать тоже совсем не занималась ребенком. Будь он от любовника,

верно, она любила бы его сильнее.

Значит, его разлучили с сыном из мести, из жестокости, чтобы наказать за то, что он их поймал.

И он собирался чуть свет идти требовать через властей, чтобы ему вернули его Жоржа.

Но как только он принимал такое решение, им снова овладевала уверенность в обратном. Раз Лимузен с первого дня был любовником Анриетты, любимым ею любовником, значит, она отдавалась ему с таким порывом, с таким самозабвением, с такой страстью, что должна была стать матерью. Ведь при той холодной сдержанности, которую она вносила в супружеские отношения с ним, Параном, она вряд ли могла зачать ребенка.

Тогда, значит, он вытребует, будет держать при себе, будет растить и холить чужого ребенка. Каждый раз, как он посмотрит на мальчика, поцелует, услышит, как тот лепечет «папа», его будет точить мысль: «Он не мой сын». И самому обречь себя на эту повседневную пытку, на это вечное мученичество! Нет, лучше остаться одному, жить одному, состариться одному и умереть одному.

И каждый день, каждую ночь одолевали его те же жестокие сомнения и страдания, от которых не было ни отдыха, ни спасения. Особенно не любил он наступающей темноты, печальных сумерек. Тогда на сердце его дождем падала тоска. Он знал, что вместе с мраком нахлынет на него волна отчаяния, затопит, лишит разума. Он страшился своих мыслей, как страшатся злоумышленника, он бежал от них, словно затравленный зверь. Особенно боялся он пустой квартиры, такой темной, такой жуткой, и безлюдных улиц, где горят редкие газовые рожки и где, заслышав издали одинокого прохожего, пугаешься его, как бродяги, и невольно замедляешь или ускоряешь шаг, смотря по тому, идет ли он навстречу или следом за тобой.

И Паран, сам того не замечая, инстинктивно сворачивал на большие улицы, освещенные и многолюдные. Свет и толпа манили его, занимали, помогали ему рассеяться. Затем, когда он уставал бродить, толкаться в людском водовороте, и видел, как понемногу редееет толпа, как на тротуарах становится свободнее, боязнь одиночества и тишины загоняла его куда-нибудь в кафе,

полное света и народа. Он шел гуда, как мухи летят на огонь, садился за круглый столик и заказывал кружку пива. Он медленно потягивал его, огорчаясь каждый раз, как вставал и уходил кто-нибудь из посетителей. Ему хотелось взять его за рукав, удержать, попросить посидеть еще немного, до того боялся он минуты, когда гарсон, подойдя к нему, сердито скажет: «Пора, сударь, уже закрывают...»

Ведь каждый вечер он уходил последним. Он видел, как сдвигают столики, как гасят один за другим газовые рожки, за исключением двух – над его столиком и над стойкой. Он с сокрушением следил, как кассирша пересчитывает и запирает в ящик дневную выручку, и уходил, подгоняемый шепотом прислуги: «Что он, к месту прирос, что ли? Уж будто ему и переночевать негде!»

А очутившись один, на темной улице, он сейчас же вспоминал о Жорже и снова ломал себе голову, думал и передумывал, отец он ему или нет.

Понемногу он обжился в пивной, где, постоянно толкаясь среди завсегдатаев, привыкаешь к их безмолвному присутствию, где плотный табачный дым убаюкивает тревоги, где от густого пива тяжелеет мысль и успокаивается сердце.

Он, можно сказать, поселился там. С самого утра он шел туда, чтобы поскорее очутиться на людях, чтобы было на ком остановить взгляд и мысль. Затем, обленившись и тяготясь передвижениями, он и столоваться стал там. В полдень стучал блюдцем по мраморному столику, и гарсон быстро приносил тарелку, стакан, салфетку и дежурное блюдо на завтрак. Кончив есть, он медленно пил кофе, созерцая графинчик со спиртным, предвкушая часок полного забвения. Сначала он чуть пригубливал коньяк, как бы желая только отведать его, смакуя вкусную жидкость кончиком языка. Потом, запрокинув голову, по каплям цедил коньяк в рот, медленно ополаскивая крепким напитком небо, десны, всю слизистую оболочку, что вызывало слюну. С благоговейной сосредоточенностью глотал он коньяк, разбавленный слюной, чувствуя, как жгучая влага льется по пищеводу до самого желудка.

После каждой еды он в течение часа выпивал три – четыре рюмки,

потягивая их маленькими глоточками, и постепенно впадал в дремотное состояние. Голова клонилась к животу, глаза слипались, и он засыпал. Очнувшись к середине дня, он сейчас же протягивал руку к кружке с пивом, которую гарсон ставил на столик, пока он спал. Выпив, он приподнимался с красной бархатной скамейки, подтягивал брюки, обдергивал жилет, чтобы прикрыть выглянувшую белую полосу сорочки, отряхивал воротник сюртука, вытаскивал из рукавов манжеты и снова принимался за изучение газет, уже прочитанных утром. Он читал их от первой до последней строчки, не пропуская реклам, спроса и предложения труда, объявлений, биржевого бюллетеня и репертуара театров.

От четырех до шести он шел погулять по бульварам, проветриться, как он говорил. Затем опять возвращался на свое место, которое сохранялось за ним, и заказывал абсент.

Он беседовал с завсегдатаями пивной, с которыми познакомился. Они обсуждали новости дня, происшествия, политические события. Так он досиживал до обеда. Вечер проходил так же, как и день, до закрытия пивной. Это был для него самый ужасный момент. Волей-неволей надо было возвращаться в темноту, в пустую спальню, где гнездились страшные воспоминания, мучительные мысли и тревоги. Со старыми друзьями он не видался, не видался и с родными, не видался ни с кем, кто мог бы напомнить прежнюю жизнь.

Квартира стала для него адом, и он снял комнату в хорошей гостинице, прекрасную комнату в бельэтаже, чтобы можно было смотреть на прохожих. Здесь, в этом большом общественном жилище, он был не одинок; он чувствовал, что вокруг него копошатся люди, он слышал голоса за стеной; если же открытая на ночь постель и догорающий камин опять нагоняли на него мучительную тоску, он выходил в просторный коридор и, словно часовой, шагал мимо закрытых дверей, с грустью посматривая на ботинки, по две пары перед каждой дверью, на изящные дамские ботинки, прильнувшие к тяжелым мужским; а он думал, что все эти люди, верно, счастливы и сладко спят, рядышком или обнявшись, в жаркой постели.

Так прошло пять лет. Пять хмурых лет, без всяких событий, если

не считать случайной любви, купленной на два часа за два луидора.

И вот как-то, когда он совершал свою обычную прогулку от церкви Мадлен до улицы Друо, он вдруг заметил женщину, походка которой чем-то поразила его. С ней были высокий мужчина и ребенок. Все трое шли впереди него. Он задавал себе вопрос: «Где же я видел этих людей?» И вдруг по движению руки он узнал ее. Это была его жена, его жена с Лимузеном и его сыном, его маленьким Жоржем.

Он еле переводил дух, так билось у него сердце; но он не остановился, ему хотелось взглянуть на них, и он пошел следом. Казалось, это была семья, добропорядочная буржуазная семья. Анриетта шла под руку с Полем и тихо что-то говорила, временами посматривая на него. Тогда Парану был виден ее профиль. Он узнавал изящные очертания ее лица, движение губ, улыбку, ласковый взгляд. Но особенно волновал его ребенок. Каким он стал большим, крепким! Парану не видно было лица, он видел только длинные белокурые волосы, локонами падающие на шею. Этот высокий мальчуган с голыми икрами, этот маленький мужчина, шагавший рядом с матерью, был Жорж!

Они остановились перед магазином, и он вдруг увидел всех троих разом. Лимузен поседел, постарел, похудел; жена же, наоборот, расцвела и несколько раздобрела; Жоржа нельзя было узнать, так он изменился!

Они пошли дальше. Паран снова двинулся следом за ними. Потом быстро перегнал, вернулся и посмотрел вблизи, прямо им в лицо. Проходя мимо мальчика, он вдруг ощутил желание, безумное желание схватить его на руки и унести. Словно случайно задел он его. Мальчик обернулся и недовольно взглянул на неловкого прохожего. И Паран убежал, пораженный, преследуемый, раненный этим взглядом. Он убежал, как вор, в невероятном страхе, чтобы жена и ее любовник не увидели и не узнали его. Не передохнув, добежал он до своей пивной и, запыхавшись, упал на стул.

В этот вечер он выпил три рюмки абсента.

Четыре месяца не заживала в его сердце рана от этой встречи. Каждую ночь они снились ему все трое: отец, мать и сын, счастливые, спокойные, гуляющие по бульвару перед тем, как

идти обедать домой. Эта новая картина заслонила прежнюю. Теперь это было что-то иное, иное видение, а с ним и иная боль. Жорж, его сыночек Жорж, которого он так любил, так лелеял когда-то, исчез в далеком и навсегда ушедшем прошлом. Он видел нового Жоржа, будто брата первого, мальчика с голыми икрами, который не знал его, Парана. Он ужасно страдал от этой мысли. Любовь мальчика умерла; связь между ними оборвалась; ребенок, увидя его, не протянул к нему рук, а даже сердито покосился на него.

Но мало-помалу сердце Парана снова успокоилось; душевные муки ослабли. Картина, представшая его глазам, преследовавшая его целыми ночами, потускнела, стала возникать реже. Он опять зажил, почти как все, как все бездельники, что пьют пиво за мраморными столиками и до дыр просиживают брюки на скамеечках, обитых потертым бархатом.

Он состарился в дыму трубок, облысел под огнем газовых рожков, стал почитать за событие ванну раз в неделю, стрижку волос два раза в месяц, покупку нового костюма или шляпы. Если он приходил в свою пивную в новой шляпе, то раньше, чем сесть за столик, долго разглядывал себя в зеркале, надевал и снимал ее несколько раз подряд, примерял на все лады, а потом спрашивал свою приятельницу-буфетчицу, которая с интересом смотрела на него: «Как, по-вашему, шляпа мне к лицу?»

Два – три раза в год он бывал в театре; а летом проводил иногда вечер в кафешантане на Елисейских Полях. Неделями потом звучали у него в памяти мотивы, вынесенные оттуда, и, сидя за кружкой пива, он даже напевал их, отбивая такт ногой.

Шли годы, медленные, однообразные и короткие, потому что они ничем не были заполнены.

Он не чувствовал, как они скользили мимо. Он подвигался к смерти, не суетясь, не волнуясь, сидя за столиком в пивной, и только большое зеркало, к которому прислонялось его лысеющая с каждым днем голова, отмечало работу времени, проносящегося, убегающего, пожирающего людей, жалких людей.

О тягостной драме, которая разбила его жизнь, думал он теперь редко, ведь с того страшного вечера прошло двадцать лет.

Но существование, которое он создал себе после этого,

подорвало его здоровье, ослабило, истощило его, и хозяин пивной – шестой по счету с тех пор, как он стал там завсегдатаем, – частенько убеждал его: «Вам бы встряхнуться, господин Паран, подышать свежим воздухом, проехаться за город; право, за последние месяцы вас узнать нельзя».

И когда посетитель уходил, хозяин делился своими соображениями с кассиршей: «Бедный господин Паран, плохо его дело. Вредно для здоровья вечно сидеть в Париже. Посоветуйте ему съездить разок – другой в деревню, покушать рыбы, ведь вам он верит. Скоро лето, это ему полезно».

И кассирша, благоволившая к постоянному клиенту и жалевшая его, каждый день твердила Парану: «Послушайте, сударь, выберите подышать свежим воздухом. В теплую погоду в деревне так хорошо! Ох, будь моя воля, всю бы жизнь там провела!»

И она делилась с ним своими грезами, поэтичными, незатейливыми, как у всех бедных девушек, которые круглый год безвыходно сидят в магазине и сквозь окна наблюдают шумную и искусственную уличную жизнь, а сами мечтают о мирной сельской жизни, среди полей и деревьев, под ярким солнцем, заливающим и луга, и леса, и прозрачные реки, и коров, лежащих на траве, и пестрые цветы, растущие на воле, – голубые, красные, желтые, фиолетовые, лиловые, розовые, белые, такие милые, такие свежие, такие душистые полевые цветы, которые срываешь на прогулке и собираешь в большие букеты.

Ей доставляло удовольствие говорить с ним о давнишней своей мечте, неосуществленной и неосуществимой; а ему, одинокому старику, ничего не ждущему от жизни, доставляло удовольствие ее слушать. Теперь он садился поближе к стойке, чтобы поболтать с мадмуазель Зоэ, потолковать с ней о деревне. И вот понемногу в нем затеплилось смутное желание самому убедиться, правда ли так уж хорошо, как она говорила, за стенами большого города.

– Как вы думаете, где в окрестностях Парижа можно хорошо позавтракать?

Она ответила:

– Поезжайте на «Террасу» в Сен-Жермен, там так красиво!

Когда-то, будучи женихом, он туда ездил. И он решил опять

побывать там.

Он выбрал воскресенье, без всякой особой причины, просто потому, что обычно все ездят за город по воскресеньям, если даже ничем не заняты всю неделю.

Итак, он отправился в воскресенье утром в Сен-Жермен.

Это было в начале июля, день стоял солнечный и жаркий. В вагоне, сидя у окна, он смотрел, как бегут мимо деревья и смешные домишки парижских окраин. Ему было грустно, он досадовал на себя, что поддался соблазну, надушил свой привычки. Ему наскучил меняющийся, но однообразный пейзаж. Хотелось пить; охотно вышел бы он на любой станции, зашел в кафе, видневшееся позади вокзала, выпил бы кружки две пива и с первым же поездом вернулся в Париж. И дорога казалась ему долгой, очень долгой. Он готов был сидеть целый день, только бы перед глазами были все те же незабываемые предметы, но сидеть, не шевелясь, и в то же время перемещаться, смотреть, как все вокруг движется, а он один неподвижен, казалось ему утомительным, раздражало его.

Правда, его занимала Сена, каждый раз как он пересекал ее. Под мостом Шату он увидел гоночные лодки и гребцов с засученными рукавами, быстро гнавших лодки сильными взмахами весел, и он подумал: «Вот кому, верно, не скучно».

Длинная лента реки, развернувшаяся по обе стороны Пекского моста, пробудила где-то в глубине его сердца желание погулять по берегу, но поезд вошел в туннель перед Сен-Жерменским вокзалом и вскоре остановился у платформы.

Паран вышел и усталой, тяжелой походкой, заложив руки за спину, направился к «Террасе». Там он остановился у железной балюстрады, чтобы полюбоваться пейзажем. Перед ним протянулась широкая, словно море, зеленая равнина, усеянная деревьями, многолюдными, как города. Белые дороги перерезали обширное пространство, кое-где виднелись рощи, блестели серебром пруды Везине, и едва вырисовывались в легкой, синеватой дымке далекие холмы Саннуа и Аржантей. Жгучее солнце заливало ярким светом весь беспредельный простор, еще затянутый утренним туманом, испарениями нагретой земли, подымавшимися чуть заметным маревом, и влажным дыханием Сены, которая

нескончаемой змеей извивается по долине, опоясывает деревни и огибает холмы.

Теплый ветерок, пропитанный запахом зелени и древесных соков, ласкал лицо, проникал в легкие и, казалось, молодил сердце, веселил дух, будоражил кровь.

Паран вдыхал его полной грудью, восхищенный открывавшимися перед ним далями; он пробормотал: «А здесь неплохо».

Затем он сделал несколько шагов и опять остановился, чтобы посмотреть еще. Ему казалось, будто перед ним открывается нечто, незнакомое дотопе, не то, что видели его глаза, но то, что предвосхищала душа: нежданные события, неизведанное счастье, неиспытанные радости, такие горизонты жизни, о которых он не подозревал и которые вдруг явились ему посреди этого безграничного сельского простора.

Беспросветная грусть его существования предстала перед ним, как бы освещенная ярким светом, заливавшим землю. Он увидел эти два десятилетия, проведенные в кафе, серые, однообразные, тоскливые. А ведь он мог путешествовать, как другие, – поехать далеко-далеко, в чужие страны, в неведомые земли, за море, мог заинтересоваться тем, что увлекает других людей, искусством, наукой, мог любить жизнь во всем ее многообразии, таинственную жизнь, чарующую и мучительную, вечно изменчивую, непонятную и захватывающую.

Теперь уже было поздно. Так за кружкой пива и дотянет он до смерти, без семьи, без друзей, без надежды, без интереса к чему бы то ни было. Его охватила безысходная тоска и желание убежать, спрятаться, вернуться в Париж, к себе в пивную, к прежней своей спячке. Все мысли, все мечты, все желания, лениво дремлющие на дне вялых сердец, проснулись в нем: их растревожил этот солнечный свет, льющийся над равниной.

Он почувствовал, что сойдет с ума, если долго простоит здесь один, и поспешил к павильону Генриха IV, чтобы позавтракать, забыться за вином, за спиртными напитками, чтобы перекинуться с кем-нибудь хоть словом.

Он сел за столик под деревьями, откуда открывался вид на всю местность, выбрал меню и попросил подать поскорее.

Подходили другие посетители, садились за соседние столики. Он

чувствовал себя лучше: он был не один.

В беседке завтракали трое. Он несколько раз смотрел на них невидящим взглядом, как смотрят на посторонних.

Вдруг он весь вздрогнул от звука женского голоса.

Этот голос сказал:

– Жорж, разрежь цыпленка.

И другой голос ответил:

– Сейчас, мама.

Паран поднял глаза; и тут он понял, догадался, кто были эти люди. Он бы, конечно, не узнал их. Жена уже поседела, сильно располнела, стала строгой и почтенной дамой, она ела, вытягивая шею, потому что боялась закапать платье, хотя и прикрыла бюст салфеткой. Жорж стал настоящим мужчиной. У него пробивалась борода, редкая, почти бесцветная борода, тот пушок, что вьется на щеках юношей. Он был в цилиндре, в белом пикейном жилете, с моноклем, – верно, для шику. Паран смотрел на него и поражался. Это Жорж, его сын? Нет, он не знал этого молодого человека; между ними не могло быть ничего общего.

Лимузен сидел спиной к нему и ел, слегка сгорбившись.

Итак, эти трое людей казались счастливыми и довольными; они ездили за город, завтракали в известных ресторанах. Спокойно и мирно прожили они жизнь, прожили по-семейному, в удобной квартире, теплой и уютной, уютной от всех тех мелочей, что скрашивают жизнь, от нежных знаков внимания, от ласковых слов, столь частых на устах людей, которые любят друг друга. Прожили они так благодаря ему, Парану, на его деньги после того, как обманули, обокрали, погубили его! Они обрекли его, ни в чем не виноватого, простодушного, кроткого, на тоску одиночества, на гнусное прозябание между улицей и стойкой кафе, на все душевные муки и физические недуги! Они сделали из него никому не нужное существо, затерянное, заблудившееся на свете, жалкого старика, которому нечему радоваться, не на что надеяться, нечего ждать ниоткуда и ни от кого. Для него земля была пустыней, потому что он ничего не любил на земле. Он мог изъездить все страны, исходить все улицы, войти в любой дом в Париже, открыть все двери, но ни за какой дверью не нашел бы он желанного дорогого лица, лица женщины или ребенка, которое

улыбнулось бы ему навстречу. Особенно мучила его эта мысль, мысль о двери, открыв которую увидишь и поцелуешь любимое существо.

И все по вине этих трех подлых людей! По вине недостойной женщины, неверного друга и белокурого юноши, уже усвоившего надменные замашки.

Теперь он сердился не только на них обоих, но и на сына. Ведь это же сын Лимузена. В противном случае, разве стал бы Лимузен воспитывать его, любить? Ведь Лимузен очень скоро бросил бы и мать и ребенка, если бы не был уверен, твердо уверен, что ребенок от него. Кто станет воспитывать чужого ребенка?

Итак, вот они, тут, рядом – эти три злодея, что причинили ему столько страданий.

Паран смотрел на них, закипая гневом, возмущаясь при воспоминании о всех своих муках, тоске, отчаянии. Особенно раздражал его их спокойный, удовлетворенный вид. Ему хотелось их убить, бросить в них бутылкой из-под сельтерской, раскроить голову Лимузену, который ежеминутно наклонялся к тарелке и тут же выпрямлялся.

Что же, они и дальше будут так жить, без забот и тревог? Нет, нет. Довольно! Он отомстит. И отомстит сейчас же, раз они тут, у него под рукой. Но как? Он придумывал, изобретал, всякие ужасы вроде тех, что описываются в газетных фельетонах, но не находил ничего мало-мальски осуществимого. И он пил рюмку за рюмкой, чтобы возбудить себя, набраться отваги, чтобы не упустить такого случая, который, конечно, никогда больше не повторится.

Вдруг ему пришла в голову мысль, страшная мысль: он даже перестал пить, чтобы ее обдумать. Улыбка морщила ему губы; он шептал: «Они у меня в руках, у меня в руках. Посмотрим, посмотрим».

Гарсон спросил его:

– Чего еще прикажете?

– Ничего. Кофе и коньяку, самого лучшего.

И он смотрел на них, пропуская рюмку за рюмкой. Здесь, в ресторане, было слишкомлюдно для того, что он задумал; значит, надо подождать, выйти следом за ними; они, конечно,

пойдут гулять на «Террасу» или в лес. Когда они немного отдалятся, он их догонит и отомстит, да, он отомстит! Пора, после двадцати трех лет мучений. О, они не подозревают, что их ждет!

Они неторопливо кончили завтрак и мирно беседовали. Парану не слышно было слов, но он видел их спокойные движения. Особенно раздражало его лицо жены. У нее появилось высокомерное выражение благополучной ханжи, неприступной ханжи, облекшейся в броню принципов, в доспехи добродетели.

Они заплатили по счету и поднялись. Тут он рассмотрел Лимузена. Его можно было принять за дипломата в отставке, – такой важный вид придавали ему холеные седые бакенбарды, концы которых лежали на лацканах сюртука.

Они вышли. Жорж закурил сигару, сдвинув цилиндр на затылок. Паран поспешил за ними следом.

Сперва они обошли террасу, мирно любовались пейзажем, как любят сытые люди, потом направились в лес.

Паран потирал руки; он следовал за ними поодаль, прячась, чтобы не привлечь раньше времени их внимания.

Они шли медленно, упиваясь зеленью и воздухом. Анриетта опиралась на руку Лимузена, величаво выступая рядом с ним, как подобает верной и гордящейся этим супруге, Жорж сбивал тросточкой листья и время от времени легко перепрыгивал через придорожную канаву, как молодой норовистый конь, который вот-вот ускачет в кусты.

Паран потихоньку приближался, задыхаясь от волнения и усталости, так как отвык от ходьбы. Вскоре он догнал их, но его охватил страх, смутный, необъяснимый страх, и он пошел вперед, чтобы вернуться и встретиться с ними лицом к лицу.

Он шел, и сердце у него громко билось, так как они были здесь, позади него; и он мысленно повторял: «Ну, теперь пора; смелей, смелей! Пора».

Он обернулся. Они уселись на земле под большим деревом и продолжали беседовать.

Тогда он решился и быстро зашагал обратно. Остановившись перед ними посреди дороги, он выговорил прерывающимся голосом, заикаясь от волнения:

– Это я! Я! Не ждали?

Все трое смотрели на незнакомого человека, который казался им сумасшедшим. Он продолжал:

– Можно подумать, что вы меня не узнали. Так посмотрите хорошенько. Я Паран, Анри Паран. Что, не ждали? Думали, все кончено, кончено раз и навсегда, больше вы меня никогда, никогда не увидите? Так вот же нет, вот я и пришел. Теперь мы объяснимся.

Анриетта в ужасе закрыла лицо руками и пролепетала: «Господи боже мой!»

Видя, что посторонний человек угрожает матери, Жорж встал, собираясь схватить его за шиворот.

Лимузен, совсем пришибленный, растерянно глядел на него, как на выходца с того света, а Паран, передохнув минутку, продолжал:

– Ну-с, теперь мы объяснимся. Пора! А-а! Вы меня обманули, обрекли на каторжную жизнь и думали, я до вас не доберусь!

Но тут молодой человек взял его за плечи и оттолкнул:

– Вы что, с ума сошли? Что вам нужно? Ступайте своей дорогой, не то я вас изобью!

Паран ответил:

– Что мне нужно? Мне нужно, чтоб ты знал, что это за люди.

Жорж, выведенный из терпения, тряс его за плечи, готов был ударить. Но тот не унимался:

– Отпусти. Я твой отец... Посмотри, узнают ли они меня теперь, эти подлые люди?

Растерявшись, молодой человек разжал руки и оглянулся на мать.

Очувтившись на свободе, Паран подошел к ней:

– Ну-ка, скажите ему, кто я! Скажите ему, что меня зовут Анри Паран и что я его отец; раз его зовут Жорж Паран, раз вы моя жена, раз вы все втроем живете на мой счет, на пенсию, в десять тысяч франков, которую я выплачиваю вам с того момента, как выгнал из своего дома. Скажите ему также, за что я вас выгнал из дому. За то, что застал вас с этим мерзавцем; с этим подлецом, с вашим любовником! Скажите ему, что я был порядочным человеком, за которого вы вышли замуж ради денег и которому изменяли с первого же дня. Скажите ему, кто вы и кто

Я...

От ярости он заикался, с трудом переводил дух.

Женщина крикнула раздирающим душу голосом:

– Поль, Поль запрети ему говорить такие вещи при моем сыне!

Лимузен тоже встал. Он пробормотал очень тихо:

– Замолчите! Замолчите! Поймите же, что вы делаете!

Паран запальчиво повторил:

– Я отлично знаю, что делаю. И это еще не все. Есть еще одна вещь, которую мне нужно знать; она мучает меня вот уже двадцать лет.

Потом обернулся к потрясенному Жоржу, который стоял, прислонясь к дереву:

– Теперь слушай ты. Уходя от меня, она решила, что мало изменить мне; ей захотелось довести меня до отчаяния. В тебе была вся моя радость; так вот она унесла тебя, поклявшись мне, что я не твой отец, что твой отец – он! Солгала она или сказала правду? Я не знаю. Двадцать лет я задаю себе этот вопрос.

Он подошел вплотную к ней, трагически-грозный, и отдернул руку, которой она закрыла лицо.

– Так вот, теперь я требую, чтобы вы сказали мне, кто из нас двоих отец этого юноши: он или я, муж или любовник? Ну, скорей, говорите!

Лимузен бросился на него. Паран его оттолкнул и злобно захохотал:

– Сейчас ты осмелел, не так трусишь, как в тот день, когда удрал на лестницу, потому что я хотел тебя убить. Ну, если она не отвечает, ответь ты. Ты должен знать не хуже нее. Скажи, ты его отец? Ну, говори же, говори!

Он снова повернулся к жене:

– Если вы не хотите сказать мне, скажите хоть сыну. Он уже взрослый человек. Он вправе знать, кто его отец. Я не знаю этого и никогда не знал, никогда, никогда! И тебе я не могу сказать это, мой мальчик.

Он терял самообладание, в его голосе появились визгливые нотки. Руки дергались, как у припадочного.

– Ну... ну... Отвечайте же... Она не знает... Держу пари, что не

знает... Нет... не знает... черт возьми!.. Она спала с нами обоими... ха-ха-ха, никто не знает... никто... Разве это можно знать?.. Ты, мальчик, тоже этого не узнаешь, как и я... никогда... Ну, спроси ее... спроси... увидишь, что не знает. И я не знаю... и он... и ты... Никто не знает... Можешь выбирать... да... можешь выбирать... его или меня... Выбирай. Прощайте... Я кончил... Если она решится тебе сказать, приди сообщить мне в гостиницу Континентов, придешь?.. Мне бы хотелось знать. Прощайте... Счастливо оставаться...

И он ушел, жестикулируя, разговаривая сам с собой под высокими деревьями; свежий прозрачный воздух вокруг был насыщен благоуханием древесных соков. Он ни разу не оглянулся. Он шел, куда глаза глядят, гонимый яростью, неистовым возбуждением, поглощенный одной навязчивой мыслью.

Неожиданно для себя он очутился у вокзала. Как раз уходил поезд. Он сел в него. Дорогой гнев его улегся, он опомнился и, вернувшись в Париж, удивлялся собственной смелости.

Он чувствовал себя разбитым, словно ему переломали все кости. Все же он зашел выпить кружку в своей пивной.

Увидя его, мадмуазель Зоэ спросила в удивлении:

– Уже вернулись? Верно, устали?

Он ответил:

– Да, устал, очень устал!.. Понимаете... с непривычки... Хватит, больше уже не поеду за город. Лучше бы мне оставаться здесь. Больше никуда не двинусь.

И ей не удалось вызвать его на разговор о прогулке, как она ни старалась.

Первый раз в жизни он в этот вечер напился так, что его пришлось отвести домой.

\* \* \*

Была ли опубликована эта новелла в прессе до ее появления в сборнике, французскими библиографами все еще не установлено (имеется лишь указание на то, что 3 января 1886 года она была напечатана в журнале «Народная жизнь», но там новеллы Мопассана обычно перепечатывались после их первоначального

появления в газете). В ряде своих основных положений повесть представляет собой расширенную переработку новеллы «Малыш» (см. сборник «Сказки дня и ночи», т. IV).

Ги де Мопассан. Собрание сочинений в 10 тт. Том 6. МП «Аурика», 1994

Перевод И. Татариновой. Некаулар